

Охота

Иван Семенович стоял как истукан и смотрел на удаляющихся девочек-восьмиклассниц. Из-за толстых стёкол глаза, и без того пребывавшие всегда на выкате, казались лягушачьими. Очки в коричневой роговой оправе, в бело-синюю полоску шапка-петушок, грязно-серый пуховик-колокол – вид, в общем, нелепый. Бывший главный инженер одного НИИ, пару лет назад отправленный на пенсию балласт...

Мужчина стоял недвижно, как вдруг резко повернулся и стрельнул сигарету у проходящего парня, закурил.

Девочки шли по аллее, в ярких полушубках, блестящих сапожках. Иван Семёнович быстро зашагал следом, нервно втягивая дым и выпуская струйками из носа, не отводя взгляда, словно боясь потерять из виду. Девочки болтали: сегодня была оттепель и лица не замерзали. Школьницы смеялись и размахивали руками, за спинами – фиолетово-розовые рюкзаки.

Аллея была длинная, попадался народ. Справа неслись автомобили. Слева безподъездной стеной молчал плотный ряд пятиэтажек. С деревьев иногда падали хлопья снега. Оставшиеся мороженые ранетки клевали снегири. Иван Семёнович машинально скрутил в руке красный пакет и прибавил шаг, почти побежал. Автомобили остановились на светофоре, когда мужчина, тяжело дыша, нагнал девочек и выплюнул сигарету. По щекам от волнения потекли слёзы, взор затуманился, Иван Семёнович замер. Загорелся зелёный, девочки ступили на «зебру»... Когда переходили, даже не оглянулись на него.

Иван Семёнович побрёл обратно.

Миновав аллею, он стал прогуливаться по площади Академгородка из одного края в другой. Людей много, но одиноких девочек нет. Он постоял, стрельнул ещё сигарету, покурил, посидел на заснеженной скамейке, воровато осмотрелся, тяжело вздохнул. Может быть, завтра он успеет... Может быть, завтра осмелится... Может быть, завтра заговорит...

Как охота поговорить...

По спине пробежал предательский холодок.

А теперь успокойся, пора домой.

Он поднялся.

Надо ещё в магазин зайти: хлеба и молока взять. В угловой, там работает приветливая Катя. Она всегда улыбается и разговаривает. Ласково разговаривает, понимающе, со-чув-ствен-но.

Иван Семёнович расправил ярко-красный пакет, и мысли его уверенно повели по известному маршруту. А дома ждала больная старушка-мать.

Мороженое

Да, я хожу быстро, говорю, а вы?

Я люблю не спеша, знаете ли, прогуливаюсь.

Вот урод. Только уроды говорят «знаете ли», небрежно так, с претензией. Аж противно становится.

А, ну да, говорю, вы же инвалид.

А он, действительно, инвалид. Даже покраснел, обиделся. А чего обижаться на правду? Правду не скроешь. Да, инвалид, только по слуху, иначе бы не носил слуховой аппарат, уродующий ухо, превращающий человека в киборга. Краснеет, обижается, но пропускает реплику мимо ушей и так нагло зажмурились:

В хорошую погоду отчего не прогуляться.

Прогуливаются бездельники, осаждаю его я и, развернувшись, ухожу. Слышу сзади вздох облегчения. Не люблю встречать знакомых в общественных местах. Так и не купил мороженого.

Купим в другом месте, говорю Лизке, беру за руку и увожу подальше. Семенит коротенькими ножками, успевает, моя школа. Вырастет, никому себя в обиду не даст. Ксанка, спасибо ещё скажет за дочку. А то придумала, отдала первоклассницу на лепку. Столько денег на пластилин переводит, а выхлоп какой? Так ещё сказали, теперь скульптурный брат, вроде как для профессионалов. Так они ж дети: тят-ляп и готово. Какой в этом толк? Всё равно таланта нет и не будет, пусть лучше бегают. Ничего, ходить быстро уже привыкла, плакать перестала, мол, дядя Вася устала. А я ей, какой я тебе, дядя Вася, папой зови! Да не отставай, пигалица пучеглазая! Теперь смеётся на «пигалицу», привыкла. Дети, особенно, девочки, они ж как собаки, ко всему привыкают, главное дрессировать, главное не давать слабину, показывать всегда, кто в доме хозяин, и тогда всё будет в порядке. Иначе – всё, кранты, сядут на шею, ножки свесят – и вези, значит, пахай на меня, корми меня, целуй и люби, а я тебя понукать стану.

Семенит, смеётся. Мороженого больше не просит. Думаю, может, забыла, может, вообще не брать. Ксанка ей дома сладкого почти не даёт. Повезло Лизке с отчимом, я

сладкое сам люблю, так что и ей перепадает иной раз, а так Ксанка строгая. Мне вообще в детстве сладкого не покупали, зато теперь ем вдоволь. Ксанка говорит, что я как маленький ребёнок, дурочка, я волен делать, что хочу: я мужчина, хозяин в доме, хочу сам ем, хочу ребёнка кормлю. Никто мне не указ, а жена – это ж перчатка: хошь, заткнул, хошь, надел.

Семенит, родимая, старается. Но хвалить нельзя, довольным быть нельзя. Ничего хуже этого быть не может, как дать слабину. Противиться улыбке, выражающей горделивое отцовское чувство, отрицать само это отцовское чувство – вот долг отца. Не изнежить, не дать взрослеть в холении и лелеянии с розовыми соплями и ласками – вот задача настоящего отца, а не какой-нибудь половой тряпки. Даже «половой» звучит чрезмерно претенциозно, тьфу ты, пакость какая... И ещё эта, малая, свербит, не прекращая, про птичек разных да про листочки красивые. Погань...

Отряхни платье, мать твою! Где заляпалась? Когда успела? Девочка должна быть аккуратной, а ты – растыка какая-то растёшь! Стыдобища...

Смеётся, отряхивает серую пыль с зелёного платица, пучеглазая. Вся в мать, та тоже часто смешливая и какая-то маркая, особенно, на кухне. Пирог спечёт, так вся в муке стоит, руки – в тесте. И ко мне – с обнимашками. Куда, говорю, прёшь? Майку не отстираешь! Это я так о ней забочусь: ну, обнимет меня, мне-то приятно, а ей потом отстирывай, совсем не думает, дурёха. Обо всём я думаю: и о стирке, и о готовке, и о мебели, и о футболе... Невозможно на Ксанку положиться ни в чём, даже в воспитании Лизки. Балует её: телевизор смотри, в компьютер играй, книги не читай, а сладкое не ешь! Никакой логики, бабы, они и есть бабы! Лучше б ела сладкое, пока зубы молочные, а вот телевизор и компьютер – это опасно, на мозги влияет. Ну, ничего я из обоих дурь выбью, нашлась, умная. Приду, со смены, и говорю, всё

выключать, папка устал, папка хочет тишины и покоя. И ведь верят, гримзы. Ниже травы, тише воды... Ну, это про Ксанку, а Лизка... Пока не отлупишь по первое число да в чулане не запрёшь, – всё думает, батя шутит. И что самое дурацкое: постоянно приходится повторять, проделывать одно и то же наказание, будто не понимает ничего, как себя вести, да как ей потом, во взрослой жизни, пригодится моя наука. И Ксанка лезет: «Выпусти!», – неблагодарная.

Отряхнулась, говорит, зайчик!

А там девочки с зеркальцем играют, солнечный зайчик так и прыгает у наших ног по асфальту. Неприятные, ехидные, лет по двенадцать, научат Лизку плохому. Ехидно улыбятся, ехидны малолетние, ужас. Спасать Лизку, оберегать Лизку – моё призвание перед Ксанкой, а не разрешать играть с придурочками.

Пошли, чего застыла? Там мороженое, говорю и тащу её подальше. Да, теперь обязан купить мороженое. Но я его и сам хочу. Было бы полезно купить себе, а Лизке – фиг, даром, сегодня напрашивается на наказание: ремнём или в угол поставить? От Ксанки зависит, всё-таки её кровушка. Однако, слишком грубо так наказывать, надо быть умнее, приласкать, погладить, успокоить, а потом – на тебе, получи! Эффект неожиданности, он всегда вовремя, всегда на своём месте, всегда необходим, тем более, в воспитании маленьких девочек, а то вырастишь проститутку и красней за неё потом, срам. А я срама не потерплю, даю свою фамилию, благодарны быть должны...

На лошадке прокатаешься?.. Конечно, можно, а потом мороженое, ещё спрашиваешь. Сколько стоит прокат этого мерина? Хорошо. Сам посажу дочурку. Как тебе, Лизка? Не страшно? Лошадка добрая, погладь по гриве, погладь. Вот так... Лошадка мечтает покатавать тебя, она же не я... Какой кружок маленький, а цену заломил... Снимай ребёнка, я пока деньги отсчитаю. Так, этого ему хватит... Что? Почему половина? На корм лошадке надо больше? Да наживаетесь вы просто на бедных животных,

на их горбу зарабатываете. Больше не дам, ищи других дураков. Урод, удавится за копейку... Сколько же их в мире...

Ксанка, как я тебя люблю... Моя хорошая, добрая, милостивая, слабая Ксанка! Я тебя защищу, огорожу от этого тлетворного и ужасного мира, от жестокой реальности, от моральных уродов, Ксанка! Я так тебя люблю, кроха моя, моя толика, моя капелька... Ксанка моя, строгая, в фартучке!...

А дайте нам эскимо, без шоколадной глазури. Два.

Дочка замуж собралась

Регина открыла дверь своими ключами и, просунув голову в прихожую, позвала:

- Ма-ам! Ты дома?

В глубине квартиры бормотал телевизор.

Регина вошла и заперлась на ключ (внутренний замок не работал, в том смысле, что был давным-давно вырезан). Большой пакет больно оттягивал левую руку.

- Ма-ам! - Регина, не разувшись, пошла по тёмному коридору осторожными шагами, то и дело натываясь на разбросанные тапки и пакеты. - Я пива принесла!

Пахло жареным тестом и растительным маслом.

- Ма-ам! - Регина принялась. - Лепёшки пекла?

Дверь в большую комнату медленно со скрипом приоткрылась и показалась огромная голова кота.

- Базилио, - Регина улыбнулась, - что не встречаешь, паршивец?

Голова кота нырнула обратно.

Регина заглянула в комнату и, удостоверившись, что мать одна и просто лежит на диване, вошла:

- Ма-ам, чё молчишь?

Судя по звукам по тэвэ показывали очередной детективный сериал: кто-то кричал "кийя-а!" под

энергичную тревожную музыку и раздавались гулкие хлопки выстрелов.

Мария Леонидовна приподнялась на локте и улыбнулась дочери:

- Реги-инка, давно пришла?

- Здравствуй, вот решила забежать на минутку. Пива принесла, - Регина поставила объёмный пакет на кресло.

Мария Леонидовна встала, подошла к телевизору и убавила громкость на панели. Телевизор был старый и пыльный, батарейки в пульте сели, да и сам пульт за безнадобностью пропал: канул в поддиванную Лету, затерявшись среди мусора.

На худенькой Марии Леонидовне мешковато висел помятый, но недавно стираный, сарафан. На ногах отчётливо проступали синие набухшие вены. Лицо было усталым, без признаков косметики, в сетке мимических морщин, возникающих от прищура и улыбки. На руках расцветал алый глянец мозолей и аллергических наростов, коротко состриженные ногти расслаивались.

- Чай будешь? Там я оладушков пожарила. Только сахара нет...

- Смотри, чего тебе принесла, - сказала, не слушая, Регина и полезла в пакет. - Вот тебе маечка белая. Вот колготки. Не китай, сама такие ношу.

- Да зачем же... У меня есть. Регин, ни к чему это...

- Лишним не будет, - отрезала Регина. - Тут вот пиво, - достала трёхлитровую пластиковую бутылку. - Тут сыр... чуток колбаски, как ты любишь, "К завтраку". Батон, паштетик. Рожек килограмм.

Продукты складировались на и без того захламленный стол: там покоились потрёпанные книги, целлофан, кулёчки, таблетки, рваные бумажки, чайные кружки. Базилио подал голос и потёрся о Регинину ногу.

Мария Леонидовна всплеснула руками:

- Куда столько?! Регин...

Регина сложила пакет и убрала в карман джинс.

- Ма-ам, я пока донесла, устала, к тебе пока на третий этаж поднимешься... Порезь, мам, я кружки помою.

Регина взяла две грязные кружки со стола и пошла на кухню. Мария Леонидовна последовала за ней за ножом.

- Как вы? - тихо спросила Мария Леонидовна.

- Нормально. Путёвки в Тайланд взяли на послесвадьбы. У Артёма друг в турфирме работает, посоветовал.

- Понятно, - выдохнула Мария Леонидовна, - хоть за границей побываешь.

На кухне она взяла нож и разделочную доску и пошла обратно в комнату.

Нельзя сказать, что на кухне царил полный хаос, но она была изрядно захламлена. В раковине стояла немытая посуда, на конфорке - чёрная сковорода с оладушками, из-под потолка свисала тенёта, стены были забрызганы масляными застывшими каплями, ведро источало сладковатый запах, а на столе группировались жёлтые от времени пластмассовые контейнеры для круп, муки, сахара и приправ. Советский холодильник громко тарахтел. Под столом лежали пустые бутылки из-под водки и пива.

Регина включила воду, помыла кружки и попыталась отскрести жирной губкой одну из тарелок с остатками присохшей ячневой каши, но тщетно бросила затею. Никакого моющего средства в квартире не было, Регина это знала.

Когда она вошла в комнату, Мария Леонидовна давила ножом колбасу: тот никогда не встречал точильного камня, а потому наотрез отказывался резать. Регина налила две кружки пива и, захватив одну, присела в кресло.

- У тебя-то как? - спросила, прихлебнув.

Мария Леонидовна положила рваные кусочки колбасы, давленные ломти батона и крошащиеся пластики сыра в хлебницу, выкатила в центр комнаты журнальный столик, поставила на него наполненную хлебницу, вскрыла

упаковку с паштетом, принесла с кухни баночку искусственной икры, припасённую для особенного случая, наконец взяла кружку, глотнула.

- Всё по-старому: с Никиткой соседским сижу, ну ничего, скоро со своим внуком повожусь! Тока ты не затягивай после свадьбы...

- Ма-ма! - закатила глаза Регина. - Скока можна-а.

- Вот носков навязала, - как ни в чём ни бывало продолжала Мария Леонидовна, вытянув из-под дивана плоскую корзинку с вязаньем, спицами и клубками. - Катька сёдня вечером обещалась зайти и забрать. Две тыщи заплатит. Эти вот с собачьей шерсти, пять пар получилось...

- Мам, она ж их продаёт две тыщи за пару...

- И что? Мне зато не стоять на улице. Вот заказ на кофточку Нина дала. Через недельку шерсть принесёт.

В юности Мария Леонидовна была красавицей. Отец Регины был счастлив, что отхватил такую невесту. Он увёз Марию Леонидову на другой конец необъятной страны, которая через год после их свадьбы перестала существовать. Родня мужа не приняла её, а собственная оказалась в недосыгаемости. После внезапной смерти мужа, она оказалась одна в чужом городе с ребёнком на руках. Поддерживали её только новообретённые подруги. После тяжёлой болезни, она оказалась инвалидом, на высокооплачиваемую, стабильную работу её больше не принимали, стала выпивать, но дочь вырастила, устроила в вуз, в общем, поставила на ноги. Уже на первом курсе Регина переехала к жениху.

Мать и дочь беседовали полчаса, пока всё не было выпито и съедено. Наконец Регина встала.

- Мам, ты не приходи на свадьбу. Мы скажем, что ты болеешь. Ладно?

Мария Леонидовна молча кивнула. Луч солнца на лице высветил новую морщинку.

- А то напѣшься там... Мне пора. Я перед отлѣтом ещё зайду. Да, вот, - на журнальный столик легла пятисотрублёвая бумажка.

- Регин, у меня пенсия на днях, не надо. Да и Катька...

- Мама, лишними не будут. Я сама закрою.

Дочь ушла. В подъезде она достала телефон и позвонила:

- Тёмочка, мамы не будет, я поговорила... УЗИ?..

Ну, не точно, вроде как девочка, но там только пятьдесят процентов... Шампусика взять?.. Ага... Целую, котик.

Чёрный туман

Узе давно бегут муласки, а в голове – килпиць, тязёлый-плетязёлый и класный. Килпици всегда класные. А муласки не визу, они холодные, я от мулазек замёлз, а мама головит, у меня – зал. Она сьупает лоб. Мама не лубит когда муласки, я – тозе. Мама уклывает меня под одевало, подтыкнула. Одевало холодное; голову к подушке плизал килпиць, тязёлый. Мама головит, ей совсем не нлавятся мои муласки. А они бегают по ноге и по зивуту.

Я лязу и глеюсь, но не мозу выглеться: всё – холодно, и вовнутли – лёд. А в голове – килпиць, голуву повелнѣс, а он – тлескаться – больна! И блови упухли, на глазах свиснут.

Мама подусла, говолит, я сосал сосульки, а я не сосал: я больсой, знаю, нельзя сосать сосульки, они для класоты. А для вкусоты – молозено. Мы с Васькой купили один, два, пять, тли молозено – много вкусоты. Мы скусили всё, вот поцему вовнутли лёд. А сосульки я не ем: я не дулак, я холосый. А одевало плохое – не хоцит меня глеть. Я мёлзну, а мама головит, зал. А я совсем очень не залкий...

– Мама, дай Мулзика. Он тёплый и мяккий. Я быстло соглеюсь.

Мама плинесла гладусник, всунула в подмышку. Ой-ёй, холодный. Мама головит, так надо. Телпню. Долга! Килпиць давит, в лобу болит, а я не стукался лобом. Мама сядит лядом. Она сама класная, сельёзная и не суетит. Только гладит волосы и ласказиваит. Мама взяла гладусник. Ланьсе я болел и гладусник всегда помозал. Него надо наказать и лазбить. Мама нево позалела и только помахнула: пелдупелдила, а я лазбил бы. Нехолосых надо бить и вставить в угол.

– Дадай лазобью! Он нехолосый. Дай лазобью. Он сам в подмышкой соглелся, а мене не соглел.

Не дала. Отдала папе, говолит, тлицадевять и дува. Папа усол. У мамы лицо класное совсем. Килпиць, а не лицо. Сла туда и сюда. Тозе усла. Головят с папой. Стласно головят: тихо и сопотом. Головят быстло и неспокойно. А я пухну. Лицо упухло. Стало залко. Одевало не надо. Оно мокрое и подуска моклая. Я запотел одевало. Афлика! В Афлике залко. В Афлике зивут неглы. Хоцю быть неглой: когда лозается негла, нево окунывают в соколад. Потому неглы колицьневые. Холосо окунываться в соколад. А мозет, их окуновывают в каку?

– Мама! Мама! Во сто окунывают неглов? Неглы – это в Афлике зивут. Не надо меня уклывать. Я соглелся. Гладусник холосый. А я хотел лазбить, а он холосый, плавда? Ой, мама, а у неглов есть холосые гладусники?

...Узе вецел. Окна класные, и стена класная. Одевало залкое и воняет. В зивоте молозено ластаяло. Подуска твёлдая, а голова мяккая и упухсая. Залко. Пальцы слипцивые как неглы после соколада. Мама усла. Сумит сум в длугой комнате. Говолят голоса. Кто-то плисол. Входит белое на класное. Мама включает свет. Вокруг туман. Визу класную маму и белую дяню. Они головят. У дяди усы и сумка. Сумка больсая, а дядя белый и стласный, от него идёт туман. Всё бело, а на велху – усы. Я боюсь. У дяди в луках – вукол. Он злой и белый. Я хотел быть неглой, а меня укунули в кипячёное молоко!

– Мама, убели молоко! Ты же знаес, я не лубю кипящёное молоко!

А злой белый дядя готовит вукол. Мама убилает одевало. Пелеволацивает меня на зивот. Я тыкаюсь в белую подуску. Клугом бело!

– Мама, не надо вукола, одевало тозе белое!

Я заклыл глаза. Там белая сумка с усами. Стласно. В бловях – тязесть. А с заклытыми глазами класный свет. Снимают плавоцьки. Будет вукол. Это больно. Не хоцю, не надо, не буду! Белый – злой. Плохие усы. Они глинные как у Мулзика. А Мулзик завтла меня поцалапал. Ой, вата! После неё всегда вукол. Мама головит, это доктул. Все доктулы стласные, белые. Ай! Нельзя! Больно! Плохие!..

Плацю в подуску. Мама целует и укlyingает. Доктул усол. Нему холосо, нему не больно. Больсой, плисол и обидел. Вот выласту, тозе нему вукол поставю. Сколей бы... Мама выключила свет, села лядом. Залко и темно. Воклуг цёлный туман. А мезду окнов очень темно. Там стоят люди. Они высокие, они нехолосые, но стоят смилно, боются маму. Цёлные неглы. Огломные-е. И за окнами – на вулице – кто-то заглядывает, смотлит, но не влезут. Мама лядом. Я вздыхнул. Хоцю спать. В голове – опять килпиць. Тыкаюсь в маму. Она – в цёлном тумане.

...Сколо день лозденье. Мама головит, сколо, послевцела. А сицяс день лозденья у лисенёнка. У лызего такого. Он сидит под столом. Он здёт длугих звелёнков. Будут подалки. Вот они плиходят. Звеленёнки плясут. Весело! Я иду к ним. Мы бегаем, иглаем. Там толт. Бальсой и вкусный. Звеленёнки кусают, но в небе облака. Цёлные-цёлные. Летят бабки-ёски. Они пугают и стласные. Я пляцюсь под одевало. Бабки-ёски меня не видят и говолят. Они говолят, плазник – плохо, цёлный туман – холосо. Они говолят, меня надо укласть и скусать. Они лохматые, глянзные. Плохее неглов. Звелята лазбезались. Лисенёнок плацет.

– Мама! лисенёнок плацет! Бабки-ёски заблали толт!

Мама в цёлном тумане. Она стоит в двели. Мама стланная. Она – цёлное пятно. Кливая. Мама не головит, а стланно сумит. Бабки-ёски боятся, смотрят на маму. Они отосли к окну, говолят, давайте отлавим маму. Одна бабка-ёска белёт зелёный помидол. Бабки-ёски смеются, они говолят, скусай, мама, зелёный помидол.

– Мама, не ес зелёный помидол!!!

Мама белёт и ест. Она кливая и кливится. Цёлная в тумане, а в луке помидол.

– Мама, нельзя есть зелёный помидол! Мама, мама! Сто ты делаес?! Он зе зелёный! Зелёный! Мама!

Мама плакала в цёлном тумане. Мама стала цёлным туманом, а бабки-ёски долго – до угла говолили и говолили. Я плакал. И туман плакал. И в тумане кто-то ходил.